

Я вернулся в Россию в поисках собственной биографии, а главное, посетить места моих отцов, праотцев, короче говоря — предков. А были ли они у меня? Я всегда себя чувствовал сиротой. Цапля, что ли, меня принесла в клюве? И не только потому, что родители мои исчезли в бесконечности российского передела и я их фактически не знал. Меня вырастила тетя, с которой я до сих пор живу в Германии. Вероятнее всего, про нее просто-напросто забыли, когда расстреливали или навечно упрятали моих близких.

Мы живем в маленьком ухоженном городке Фрейбург с великолепной темно-красной ратушей, в которой орган поет Бахом, а пространство принадлежит ноосфере. Там можно дышать звуками и шорохами душ, которые насытили воздух собора своими страданиями и надеждами. Наверное, сюда заходила и Цветаева. С дома, в котором она жила здесь какое-то время, исчезла табличка. Но дорога к нему не забывается. Студенты консерватории и университета из России передают память о ней, как эстафету.

Все думают, что тетя Гертруда, сестра моего отца — мне мать. В характере ее толикает качества пионеров и первооткрывателей всех народов Европы и Америки. И это не так просто. Ни для нее, ни для окружающих. Она, очевидно, бессмертна.

Москва меня встретила великолепием ночного освещения. Она стала шумной и нарядной, но автомобильные пробки засасывали человеческие мозги и силы в бездонные воронки отрицательности. Я схватил разваливающийся "Москвич" — частники, промышляющие извозом, порой любезнее и дешевле такси — и поехал по безлюдному и бездушному Щелковскому шоссе на бывшую дачу моего знатного предка. Километров тридцать невзрачной дороги, и вот — парк, дача, затерявшаяся среди санаторных корпусов из красного, крашеного кирпича с неопишым декором пятидесяти лет: смесь мексиканского революционного реализма и реализма послевоенной социалистической Европы, которая фигуру человека представляла как лагерную жертву. Оттого подобный декор всегда напоминает надгробие, украшает ли он несурзано высокие столовые или концертные помещения, смахивающие на трибуналы Европы эпохи фашизма. Мир так необъяснимо сообщаем, если не един. И так отчаянно бьется за разделение: рас, наций, областей, семей, полов. Вот только языки хочет превратить в отвратительное единое варевое. Bleurgh! Sloosh! Strapp! Ops! Crash! Splash! И понимать не надо. Учиться давно уже вышло из моды. Наши дети просто рождаются менеджерами. Университет им тесен. Впрочем, я сам его так и не окончил. Так получилось. Но и детей у меня нет.

Наполеон, стремившийся создать единую Европу, а может, даже Евразию, как он страдает, верно, по ту сторону жизни. Как медленно и в какой духовной нищете его революционные идеи пробивают себе путь сквозь толщу неведения. Хотя крови с некоторых пор льется меньше. В поисках нового баланса страны все больше оперируют ограниченными контингентами. Так затормаживается процесс реабилитации войны. Мир не сумел победить войну. И вот уже снова в воздухе ее запах, который здесь, в этом странном отеле, все еще не выветрился.

Дача или, как сегодня сказали бы, вилла деда была отлично спланирована, некая огромная каменная изба, теплая и добротная. Сейчас там номера "люкс", сегодня VIP (по 4 и 5 комнат, даже двухэтажные) и абсолютно пустой никакой холл. На садовой скамейке перед входом в павильон VIP (корпус, как по-прежнему говорят новые администраторы ДО*) — несколько толстых теток, похожих на недобрых советских буфетчиц с колясками. Такая же тетка провела меня по дому моего детства и предлагала дорогие спиртные напитки, которые держала в закутке запертой. Бара в европейском представлении не было.

Я представляю было блестящий блеск пенсне моего железного деда, кото-

рый любил порядок, нарядный блеск люстр и хрустала и почти что немецкий Ordnung. А был ли он чистокровным русским? И есть ли они? Я шел по парку, в котором в прошлом веке пели экзотические птицы (помещик-немец был безумен, как всякий немец в России, она высвобождает безумие: бескрайняя равнина, по ней растекаются формы, вещества и идеи). Вместо птиц — гусиное погогатывание на зацветших прудах, застывших под плотной маляхитовой ряской. Лодки, стоящие на окаменевшей воде, готовые к употреблению весла. Страшно подумать, что в воду можно упасть и она проглотит тебя в мраморную зеленую суть беззвучно, безразлично. Один из прудов еще блестел зеркальным отражением деревьев. Но и это зеркало казалось каменным. И гусиный гогот был глухим и шипящим, будто клубок змей в индуистском храме забытого в джунглях

столы накрывались жестко накрахмаленными салфетками, фразе и фирменными сервизами. Прекрасные супницы до сих пор украшали столы столовой для обывателей.

Нежизнеподобное кино тридцатых годов, убрав звук, можно принять за немецкое. Почему красный или черный фашизм так возбуждал человечество? Что произошло тогда в Европе? Неужели для воспитания масс нужна военизированная форма мышления и поведения? Никто не смел бросить спичку на улице России шестидесятых (уже несколько раскрепощенных) годов. Совдеп был одержим порядком. Его инквизиторский пафос был тому гарантией. От всего этого я бежал всю жизнь. Я не знал (да и знать не хотел) родителей. Так никто и не узнает, расстреляли их или выслали за границу? Я скитался, журналист-репортер, по странам мира. Сначала все гранд-отели

роман "Сказитель из Алеппо". Когда вышел фильм, сирийцы спохватились и отказали в визе и мне. Нет больше и "Hotel l'Oasis" в Алжире. Здесь Уайльд за чашкой кофе подарил Жиду маленького музыканта. Память о пламенной дорбука нанизывает экстаз за экстазом на страницы писателя. Сюда, в отель "Оазис", Жиду пришло первое письмо Кокто, которому так и не случилось соблазнить его. Когда в семидесятые я был в Алжире, меня поселили в маленькой скромной гостинице за большой мечетью, не помню имени. Я отвез письмо и вернулся авиабилеты суженому моей парижской приятельницы. Он — крупный нефтяной и государственный деятель из влиятельного клана. Она когда-то училась с ним в Сорбонне. Это был красивый молодой белокожий алжирец, готовый на все ради любви к ней. В последнюю минуту она решила не портить ему

она годилась мне с натяжкой во внучки, но я ничего не мог с собой поделать. От нее резко пахло молодым неухоженным потом. Запах этот преследовал меня. Пока... я не познакомился с матерью.

Высокая, статная, темноглазая и темноволосая, с крепкой еще грудью и достойными бедрами, она привлекала внимание всех встречных мужчин, глаза у нее при этом хищно поблескивали. Странно и отсутствующе блеснули они, встретившись с моими, бесстрастными, как у деда, но без угрожающего пенсне. Вечером мы оказались в постели. Нас ничего не связывало. Кроме того, что она была женщиной моей жизни. Слишком поздно! Она впила в меня своим телом, от желания она теряла сознание. Я вел себя так, будто провел всю жизнь в постели. Она страдала и стонала от наслаждения, как бешеная кошка, обезумевшая от неожиданности. Мне казалось, я знаю ее с изнанки кожи, из недр мяса и лимфы, я стал ее кровью и потек по ее венам, я поселился в ее мыслях. Моя пустая, безвольная жизнь затрещала, как сухие дрова на молодом костре.

Однажды вечером, разбросавшись по всей постели, как остывающая от пожара Юнона, она спросила голосом, на который побежали бы звери джунглей: "Когда ты женишься на мне?" Я в ужасе выдохнул, не ожидая ни секунды, высоким фальцетом: "Ни-ког-да!" Это был конец. С тех пор в ее глазах появилась тревога и какая-то заганность, как у тех средневековых женщин, которых таскают за волосы или бьют мужчины. Такую я не любил. Но и других больше не видел. Безумие последнего и единственного желания опустошило мой мозг, мою плоть. Душевная импотенция была заложена судьбой в Совдепе. Вот и вернулся по следам детства и юности, пытаюсь понять, как и когда меня лишили страсти, амбиции, движения. Российская песнь закрадывается в душу, в мошонку, в мозг. Из всех женщин люблю избирательной любовью тетю Гертруду из Фрейбурга. Она принадлежит поколению динозавров. Все вымерли, кроме нее.

На аллеях парка, где я рос, встречаю много одиноких, подобно мне, фигур. Их ничего не связывает с миром, кроме передач по каналу "Культура". Но это, скорее, загробный мир. Люди не общаются друг с другом, не здороваются, не улыбаются, не кланяются. Так медленный яд Советов продолжает свое действие через поколение. Непромокаемые лица молодых ухоженных женщин портит злое, неприветливое, всем недовольное выражение. Маленькая девочка зло кричит: "Купи!" Теперь уже новый, безыдейный мир делил — чтоб управлять. В восемь вечера все спешит к своему телевизору. Одинокие, равнодушные друг к другу, без вождения. Здесь не случаются курортные романы. Здесь не видят друг друга мужчины и женщины. Здесь делают детей редко и по обязанности. В отместку они, когда не визжат "купи", тихи и уже одиноки и бесстрастны.

За дедовой дачей посадили в день рождения мамы березку и дуб. Сегодня это два могучих дерева. Береза проросла в ствол дуба. Дуб схватил ее в объятия своими могучими лапами. И так стоят они, впившись друг в друга последней, единственной любовью мира. От ужаса меня спас мой кузен. Мы когда-то вместе учились в МЭИ, том самом, который я так и не окончил. Он тоже жил всю жизнь за границей, а сейчас осел в Москве. Красивый, блестящий эрудит, светский и общительный, безукоризненно одет, будто вырос в Милане, с рафинированными привычками. Голубой. Он повез меня на горячий шашлык и увез в Москву, подальше от меланхолии. Единственный в стране моего детства, он говорил о любви. У дерева любви мы подобрали на память по желуду.

* ДО — Дом отдыха

** Лампаги — лампы на баркасах для ночной рыбной ловли.

Эвелина ШАЦ.

Подмосковье, август 2002.

КОГДА Я БЫЛА МУЖЧИНОЙ

меланхолические заметки из несостоявшейся биографии

Эроса. Пекинские утки, большие, как гуси, не крякали, а скрежетали. Белые, с желтыми клювами, они разрезали каменную поверхность зеленого озера, которую должны были склевать, но озеро околдовывало их, превращая в мраморные фигурки. И странным казался отвратительный запах птичьего сранья и перьев в этом застывшем в зеленом инее царстве.

В запущенном парковом лесу — остатки костра для шашлыков (по дороге из Москвы вывеска "Горячие шашлыки"), повсюду в лесу пластмасса, пивные банки, пустые бутылки. Мне казалось, что мусор забивается в легкие, как пыль, мне стало трудно дышать. Я быстрым шагом настиг бар в главном корпусе. Здесь можно было поменять валюту и за большие деньги выпить беззвучный кофе и любой спиртной напиток. Легкий запах мочи и плесени, а в холле перед туалетом резала нос хлорка. В самом баре было темно и пахло пригоревшим мясом. Дышать было нечем. В парке — перегар торфа подмосковных пожаров. Трудно найти себе место. Помещений было много. Неправдоподобно обставленных рухлядь. Весело зеленел новый бильярд. Я с трудом через кишкообразные темные коридоры выбрался в парк.

Бетонные плиты дорожек и площадки проросли травой и будто пошатнулись от тяжелого дыхания земли. Иногда в старом парке сдвигался над головой старинный необыкновенный лес — память о роскоши, о царских угожьях, об охоте и красоте. Внезапно отодвигалась кулиса, и дыхание перехватывало от неожиданно распахнувшегося, как черт из коробочки, вида на зеркальную воду, на бегущую по долу толпу лип, берез и сосен — таких высоких, что небо виднелось в далекой выси, как в колодце. Бегали белки. Вороны тревожно брызжали к темноте. Цикады цокотали о лете. Кирпичная труба завершала пейзаж: будто крематорий военных лет. (Здесь и вправду был военный госпиталь. И только после смерти деда — ведомственный дом отдыха.) Ей рифмой отвечал шпиль памятника собаке помещика, который превратили в памятник безымянному солдату.

Меня провожала по парку местная собака. Потом прибежала целая стая дворняг. Может быть, они хотели признать во мне хозяина? В номере канал "Культура" транслировал несталистические бездарные документы о старых славных героях утонувшего континента. Будто культура исчезла вместе с ним. И нет ничего нового. И нет в стране молодых. И нет творения, воображения, жизни. И нет больше любви и стран. Я продолжал задыхаться. Подумал о красной полосе революционной карты России, которая соответствовала географии крепостного права. Неистребимого. Неужели единственное достижение — пенсионный канал "Культура"? Я подумал о деде и его соратниках — красных боярах. Долго еще в этом доме



Фотография Екатерины Голицыной.

столиц. Потом, с перестройкой, небольшие, уже богемной категории, но исторически знатные.

Есть особая прелесть в гостиницах. Ты исчезаешь в анонимате. Захлопывается дверь, и ты один в пространстве вполне соборном: столько судеб, столько интимной влаги, принадлежащей множественности, ее таинственные едва уловимые запахи. С этим набором данности восприятия, свободный от данности собственной биографии, ты ложишься в постель-проститутку. Шторы затягиваются на новых ощущениях, душа освобождается от летаргии. Здесь можно исполнить последнее желание: избавить себя от всего того, что осталось за дверью номера. "Motel Suicide", так называлась песня, написанная Бодрийяром. "Hotel Las Delicias", недалеко от Буэнос-Айреса, сегодня превратился в руины. Я помню Борхеса в коридорах, с книжкой по математике. Иногда он вычислял неизмеримые небеса, вперив в них свои всевидящие глаза, вдыхая запахи предместья Androgue, объята немислимими эвкалиптами. В "Hotel Baron" в Алеппо жила в прошлом веке около сорока писателей. И хотя "Orient Express" давно уже проходит мимо, Алеппо по-прежнему принадлежит не Сирии, а Анатолии или Месопотамии. Там я познакомился и подружился с Миром Сильверой. Еврей из Алеппо, он давно бежал с семьей в Италию. В Бароне он жил под чужой фамилией и так, рискуя, писал свой

жизнь. Родом из Москвы, она понимала, что его политическая карьера, накрепко связанная с Россией, не состоится, если состоится их свадьба. Да и встреча со мной сыграла роль в этом географическом романе. Но самым милым моей страннице-душе остается до сих пор "Albergo della Luna" в Амальфи, старинный византийский конвент, который был обителью Франсиска Ассизского. Я часами мог с его террасы наблюдать за беглыми огнями рыбацких баркасов. Лампаги** мерцали в блестящем небо-море как с того света звезды.

Я был равнодушен к женщинам. В фильмах с татарским нашествием или старыми войнами и набегами мужчины буйствовали, а женщины с рыданиями тащились по снегу, оплакивая мужей и сыновей. Они были жалки. Я не хочу их рыданий. Конечно, иногда я заказывал ужин в отеле: свечи, вино в ведерке со льдом; или в ресторане: суши и салями, фуа-гра и сотерн; очень редко в каком-то временном обиталище: take away из китайского рестораничка, сэкэ или теплое густое китайское вино. Разумная связь, игра в страсть, несколько дней привязанности, цветы, и снова — один.

Правда, несколько лет назад случилось непривычное. Продавщица в русском магазине во Фрейбурге, из русских немцев, тонкая, высокая, черноволосая девушка лет 20 стала мне сниться ночью. Простовата и, наверное, не очень образованна,